



В. Ф. ЭРН

О Царьграде

I

В 1878 году Достоевский писал: «Рано или поздно Константинополь будет наш». — «Да, Золотой Рог и Константинополь — все это будет наше... И во-первых, это случится само собою, именно потому, что время пришло, а если не пришло еще и теперь, то, действительно, время уже близко; все к тому признаки; это выход естественный, это, так сказать, слово самой природы»¹.

Эти слова нельзя назвать пророческими. Это просто глубокое чувство назревших задач и великих путей России, такое глубокое, что Достоевский утеривал связь с современниками. Нужно было почти четыре десятка лет для того, чтобы предвосхищение Достоевского стало одеваться плотью и кровью и становиться понятным и действенным на большой дороге истории. И еще был один человек — Тютчев, который проник так же глубоко, как и Достоевский, в самое острие Восточного вопроса, и так же глубоко оставался непонят и даже осмеян современниками и ближайшими поколениями.

И вот то, что с позором было заклеено как фантастика и мечтания, в наши дни вдруг, «вулканически», становится самым жгучим вопросом нашей реальной политики. События «сами собою», как и предчувствовал Достоевский, слагаются так, что вопроса о Константинополе мы теперь миновать уже *не смогли бы*, не смогли бы, даже если бы захотели. Уже не мы ставим вопрос, а сам ход истории повелительно тянет нас к ответу и к немедленному действенному, фактическому разрешению огромной вековой проблемы. И в связи с изменившимися историческими условиями вопрос о Константинополе интересу-

ет теперь не одних «пророков» и не одних поэтов. О Босфоре и Царьграде читаются многочисленные лекции «реальными» политиками различных партий и направлений, так что по вопросу о Константинополе начинает формироваться *русское общественное мнение*, которое заключает в себе такую большую силу и такую властность, что Англия и Франция, все прошлое столетие мешавшие России овладеть Константинополем, теперь решились уступить и признать ошибочность своих прежних страхов и своей прежней политики.

И опять тысячу раз прав Достоевский, и опять торжествует глубина его художественно-религиозного зрения. Кругом него слышался насмешливый шепот. У всех перед глазами была Европа, Европа, сплоченная глухой враждою к России. Достоевскому говорили: «Большинство европейских держав не позволит России подойти к Царьграду». «Но что такое большинство европейских держав? — спрашивал Достоевский. — Определимо ли даже оно в настоящую минуту? Все считают Европу... Европой, т. е. такой же Европой, какой была она с разными вариациями во все столетие... Между тем как Европа с часу на час не та становится теперь, что была даже назад тому полгода... Дело в том, что мы именно накануне самых величайших и потрясающих событий и переворотов в самой Европе, и это *без всякого преувеличения* (курсив подлинника). Да, Европу ждут огромные перевороты, такие, что ум людей отказывается верить в них, считая осуществление их как бы чем-то фантастическим»².

Пусть Достоевский ошибался в деталях. Но у него было глубочайшее постижение, которое отделяло его от современников: он видел в Европе катастрофические линии ее генезиса и становления, он смотрел на Европу с чувством совершенной самостоятельности планетных путей России и, проникая в подземные силы Европы, понимал, что сама Европа представляет из себя вулкан и в своих собственных недрах таит величайшие неожиданности и «невероятные» перевороты.

Вот это-то чувство и было «гениальным» у Достоевского. Он не обманывался статическою внешностью европейской истории, видимою «благоустроенностью» Европы и ее видимым «благополучием». Ему совершенно чужда была та повальная тоска о Европе, которая царилла не только среди его современников, но царит еще до сих пор. Он вышел один в поле и победил. «Величайшие и потрясающие события», которых ждал он, случились. Мы увидели их теперь собственными глазами. Европа разделилась, раскололась, распалась надвое. Сплочен-

ное большинство европейских держав стало друг против друга враждебными, непримиримыми лагерями. Германия восстала на Европу, в Европе восстали на Германию. Этот потрясающий раскол внутри Европы поставил Европу в новые и неожиданные отношения к России. Все, что было честного, онтологического, религиозного в Европе, оказалось вдруг другом России. Франция, Англия и Бельгия внутренне, по правде и совести, оказались подлинными союзницами России в мировом столкновении, и... прорицание Достоевского у всех на глазах стало близиться к осуществлению.

Новая группировка сил и новые мировые отношения диктуют солидарность Англии и Франции с Россией в вопросе о Константинополе и проливах. Борьба слишком грандиозна, и участие России слишком решающе в военных действиях, чтобы теперь кто-нибудь стал мешать нам вступить в новый, долгожданный период нашей истории...

II

Для чего же нам нужен Константинополь? Многие говорят, что нам нужен, собственно, не Константинополь, а проливы, причем некоторые добавляют, что без Константинополя владение проливами недействительно, и потому с проливами мы должны получить и Константинополь. Рассуждение вполне правильное, поскольку в нем подчеркивается неразрывная связь Константинополя с проливами и уничтожается странное, кое-где встречающееся мнение о том, что мы можем удовольствоваться одним Константинополем без проливов.

Настаивающие на проливах имеют в виду главным образом экономическую необходимость для России свободного выхода к мировым торговым путям. И нужно сказать, что выход этот действительно нам необходим. Россия не может остаться без этого выхода. Ее колоссальный организм начнет задыхаться от отсутствия мировых просторов. Нужно подчеркивать это без конца и перед русским общественным мнением, и перед нашими союзниками. Для того чтобы не вышло потом никаких недоразумений и никаких новых столкновений, все должны знать, что Россия бесконечно тверда и сознательна в своем желании овладеть Царьградом, что она вся от низов до верхов *понимает*, что теперь наступает решительный момент, и тогда перед огромной и авторитетной силою народного нашего решения, несомненно, должны будут смолкнуть все силы, которые глухо

и тайно хотели бы воспрепятствовать нашему правому движению к Босфору и Царьграду.

И все же решающим моментом для нас является не экономическая необходимость и даже не политические цели, открывающиеся с Царьграда, а нечто гораздо более высокое и императивное. Русский народ, по основной и глубочайшей вере своей, никогда не может признать первенства низших стихий жизни над высшими, первенства политики и экономики над последними духовными целями своего существования. Владение Царьградом может получить высшую повелительность, которая заставит замолчать всех наших противников лишь в том случае, если в своем движении на Босфор мы не изменим святине народной веры и не извратим должных и нормальных отношений между высшим и низшим, между относительной правдой наших политических и экономических потребностей и безусловными велениями нашего духовного призвания.

И опять это прекрасно понимал Достоевский. Он говорил: «Константинополь должен быть наш не с одной только точки зрения знаменитого порта, пролива, “средоточия вселенной”, “пупа земли”; не с точки зрения давно осознанной необходимости такому огромному великану, как Россия, выйти, наконец, из запертой своей комнаты, в которой он уже дорос до потолка, на простор, дохнуть вольным воздухом морей и океанов». «Не один только великолепный порт, не одна только дорога в моря и океаны связывают Россию столь тесно с решением судеб рокового вопроса, и даже не объединение и возрождение славян... Задача наша глубже, безмерно глубже. Мы, Россия, действительно необходимы и неминуемы и для всего восточного христианства, и для всей судьбы будущего православия на земле, для единения его. Одним словом, этот страшный восточный вопрос, это — чуть ли не вся судьба наша в будущем. В нем заключаются как бы все наши задачи, и, главное, единственный выход наш в полноту истории. В нем и окончательное столкновение наше с Европою, и окончательное единение с нею, но уже на новых, могучих, плодотворных началах».

III

Трудно наметить лучше основные линии духовных задач и высших духовных целей, связанных для России с Царьградом. Достоевский в немногих проникновенных словах сказал все, что нам нужно знать и чувствовать о Царьграде. Расшиф-

ровать его мысли в свете величайших потрясений настоящей войны уже не трудно.

Овладение Царьградом, если оно осуществится, будет означать для нас, во-первых, конец петербургского периода нашей истории, во-вторых, новое, синтетическое отношение к Западной Европе. И эти два факта стоят в полнейшей связи друг с другом и внутренне друг друга обуславливают.

Можно сказать, петербургский период нашей истории уже кончился, кончился 19 июля, в момент, когда Германия объявила нам войну. В общем небывалом подъеме, под грохот сражений родилось новое *чувство* России — чувство *новой* России. То «средостение» между народом и властью, которое было отличительной чертой петербургского периода и уничтожить которое не в силах было «освободительное движение», проникнутое лозунгами отвлеченного западничества, — разом рухнуло. Власть во всех своих торжественных актах и в воззвании к Польше, в отмене продажи вина, в твердой решимости до конца понести бремя колоссальной борьбы, — оказалась в чудесной гармонии с глубоким самоопределением народной воли. Народ, без различия сословий и состояний, даже без различия политических мнений и группировок, жертвенно принял и понял войну как свое собственное дело, и от этого все основные факты русской жизни с 19 июля текут в существенно новом, непетербургском русле, и никакие силы не могут вернуть этой грандиозной реки вспять в старое русло. В одном действии, запечатленном кровью и подвигом, Россия явила свою всенародность, свою внутреннюю и органическую объединенность; все наблюдатели в один голос говорят: «Эта война народная», и серые солдатские массы, блестящее офицерство, высший командный состав, земские и городские организации и, наконец, мирный тыл всего этого громадного дела в каком-то решительном, незабываемом опыте почувствовали взаимную обусловленность и внутреннее единство всех разрозненных прежде сторон и «углов» русской земли. Словом из «Петербургского периода» мы уже вышли, — вынесла нас история; мы можем дальше идти лишь вперед, а впереди, как «единственный выход наш в полноту истории», — перед нами Царьград.

Царьград для нас прежде всего символ всестороннего духовного творчества. Глубочайший опыт войны, кончая со старым, должен быть началом созидания новых свободных форм жизни, адекватных этому опыту. Святыня народной веры и народных гонений должна определительно повлиять на всю совокупность жизненных отношений. Не только в политике и экономике, не

только в социальных отношениях, но и на вершинах культуры, устремившейся ко вселенности, должны занять решающее положение духовные особенности нашего народа, который до сих пор опекали, учили, «пропагандировали», но с внутренним голосом которого считались очень мало. Если Царьград станет нашим, в нем начнется подлинно *народный* период нашей истории.

IV

И это стоит в самой тесной связи с нашим новым отношением к Европе и новым отношением Европы к нам. И эти отношения тоже уже родились в вихре военных потрясений. Разделившись надвое, Европа одной стороною своею стала против нас, как ожесточеннейший враг, который заставляет нас делать военные потрясения таких масштабов, каких доселе не знала наша история. Другую же стороною Европа *внутренно* сошлась с нами в искренности и в той глубокой солидарности, каких тоже доселе не знала наша история. Впервые Европа стала видеть Россию в ее истинном виде, а Россия впервые может опереться твердо на Европу и делать вместе с нею единое дело. Словом, мы имеем налицо то, что Достоевский называл «и окончательным столкновением нашим с Европою, и окончательным единением с нею». Впрочем, «окончательное единение» для нас лишь пока *начинается*, мы только вступаем в него, и для того чтобы оно протекало «на новых, могучих, плодотворных началах», нужно, чтобы внешнее русло нашей истории переместилось, и тут Царьград опять должен сыграть громадную роль.

Культурно, религиозно, исторически и географически Царьград есть тот пункт, в котором встречаются Восток и Запад. Петербургский период, совершенно необходимый в нашей истории как период подготовительный, создал у нас уродливое отношение к Западу. Запад брался отвлеченно, вне его онтологии, вне его религиозных основ. Мы учились преимущественно у того Запада, с которым сейчас находимся в смертной борьбе. Кроме наших отечественных захолустьев мы ухитрились создать особый, тоже чистороссийский, *западнический провинциализм*, который у нас имеет большое распространение в интеллигентских массах. Мы брали Запад в его провинциальности, в его местных и временных ограничениях, в его частных, иногда глубоко «приватных» моментах и универсализировали заим-

ствования, превращая их во вселенские нормы-законы, которыми должны повиноваться небо, земля и преисподняя.

Царьград потребует от нас преодоления нашего болезненного отношения к Западу. То новое, что уже родилось в настоящей войне, должно развиваться, углубиться и окрепнуть. Запад и Восток должны встретиться в Царьграде своими глубочайшими религиозными руслами, встретиться творчески во взаимоочищении и во взаимовосполнении. Только тогда разрешится славянский вопрос и, в частности, реализуется во внешних планах истории наше действительное примирение с Польшей. В Царьграде Запад будет столько же давать, сколько и получать, столько же учить, сколько поучаться, столько же напоминать о себе, сколько и вспоминать себя самого. Чтобы сказать одним словом: в Царьграде должен произойти мировой *Симпозион между Востоком и Западом*, и только если случится он, сможем мы повторить ответственнейшие слова Достоевского: Царьград «единственный выход наш в *полноту истории*», а так как «полнота истории» ожидается и постулируется всею стенающею тварью, то выход этот не человеческая только идея, а «слово самой природы».

